

## ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ПРОБЛЕМЫ МЕТОДОЛОГИИ

А.А. Гугнин (Полоцк, ПГУ)

### «МАГИЧЕСКОЕ» ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ А.В. МИХАЙЛОВА И НЕКОТОРЫЕ ИДЕИ В.И. ВЕРНАДСКОГО: ПОПЫТКА ПРИБЛИЖЕНИЯ К ПРОБЛЕМЕ



1. Настоящая статья – всего лишь первая моя попытка приблизиться к научному творчеству Александра Викторовича Михайлова (1938–1995) не с внешней стороны, не со стороны восхищения его эрудицией и универсализмом, не с позиции благоговейного удивления и восторга скромного труженика перед тружеником поистине великим (подобные попытки я уже делал<sup>1</sup>), но по существу, по крайней мере, по тем направлениям и позициям, которые стали все более отчетливо определяться по мере выхода его книг, статей и переводов, которые мы еще не могли прочесть при его жизни, да и многочисленных статей о нем, которых при жизни, кажется, и вовсе еще не было. При перечитывании уже знакомого (с 1968 г., когда меня впервые заинтересовали его работы) и чтении нового я с удивлением для себя вынужден был признать (самому себе), что для действительно масштабной оценки значения научного творчества А.В. в рамках советской, постсоветской, российской и мировой науки пока еще не пришло время, хотя по каждой из его отдельных работ (или отдельных сфер его интересов: эпоха морально-риторического слова, барокко, романтизм, реализм, немецкая, австрийская, швейцарская, русская литературы в их национальной специфике и в их постоянном взаимодействии,

живопись, музыка, театр – и так далее, этот перечень легко развернуть на целую страницу) специалисты могут писать (и уже пишут) глубокие статьи<sup>2</sup> и даже диссертации<sup>3</sup>. Вообще специалисты обо всем могут писать в рамках сложившихся научных традиций в каждой отдельной отрасли и в рамках тех научных школ или направлений, к которым они сами принадлежат. Но размах мышления А.В. был таков, что подлинными масштабы им сделанного можно объективно оценить лишь в перспективе всей Науки, ибо, по сути, он разрабатывал проблемы не только и зачастую не столько сугубо «отраслевые», но относящиеся в не меньшей степени к основным вопросам развития современной науки в целом. Поэтому мои заметки на данном этапе могут носить лишь характер заявки на возможное будущее, указанием на кажущееся мне неизбежным направление (одно из направлений) дальнейших и более глубоких размышлений и обобщений. Этим же объясняется их тезисный, фрагментарный характер и не вполне еще определившаяся методология и сам жанр изложения.

2. Где-то в середине 1990-х годов, когда уже совсем улеглась эйфория «перестройки», и заметная часть интеллигенции, бурно поддержавшая в свое время официальные лозунги «гласности», но не вписавшаяся в не менее официальную стратегию «обогащаясь, кто может», оказалась в некоторой (или очевидной) растерянности, мне пришлось участвовать в научной конференции, где одним из первых прозвучал доклад весьма уважаемого мной за личные человеческие качества доктора филологических наук, в основе которого была демонстрация идейно-нравственного богатства русских народных пословиц и поговорок, позволяющих пережить наступившее смутное время, сберечь нравственные ценности и не утратить единство с народом. Аудитория встретила доклад весьма одобрительно. Я же, всей душой поддерживая искреннюю душевную боль уважаемой мной замечательной женщины, вынужден был выступить с

<sup>1</sup> Уроки большой жизни. Памяти А.В. Михайлова // Филологические науки. – М., 1996. – № 6. – С. 123 – 127. (В соавторстве с Б.П. Гончаровым, П.А. Николаевым, Е.И. Чигаревой); Памяти А.В. Михайлова // Гётевские чтения 1997 / Под ред. С.В. Тураева. – М., 1997. – С. 281 – 283; Памяти А.В. Михайлова // Славяно-германские исследования / Отв. ред. А.А. Гугнин, А.В. Циммерлинг. – М.: Индрик, 2000. – Том первый, второй. – С. 383 – 385.

<sup>2</sup> Как пример можно привести замечательную подборку статей: Памяти Александра Викторовича Михайлова (24.12.1938 – 18.09.1995): Лебедев, Е.Н. Рыцарь «легкокрылой науки»; Сазонова, Л.И. Служение науке; Касаткина, Т.А. «Не пропустите человека...» // Контекст – 1994, 1995. – М.: Наследие, 1996. – С. 3 – 19.

<sup>3</sup> К сожалению, уже после написания статьи я познакомился с докторской диссертацией Г.И. Данилиной «Принцип историчности: концепция исторической поэтики А.В. Михайлова. – М.: РГГУ, 2009. – 487 с. Правда, 15 декабря 2010 г. в ИМЛИ мне удалось услышать ее доклад: «Творческий центр всех литературоведческих дисциплин»: история науки в концепции А.В. Михайлова».

критической репликой, в максимально возможной для меня мягкой форме напомнив, что у нас все же – не политический митинг, а научная конференция, и реальная функция пословиц и поговорок состоит прежде всего в том, что они отражают реальную народную жизнь в самых разных ее аспектах и ситуациях, где есть усредненная «мудрость выживания» («тише едешь, дальше будешь»; «стену лбом не прошибешь»), «мудрость разумного действия» («под лежачий камень вода не течет»; «без труда не вынешь и рыбку из пруда»), «мудрость оправданного (или неоправданного) риска» («кто не рискует, тот не пьет шампанское») – практически под любой поступок (и характер) можно подобрать пословицу или поговорку. После моей реплики в зале наступила осуждающая тишина – моя реплика была явно антипатриотичной, хотя по существу никто ничего не смог возразить, – даже дорогая мне докладчица. Этот житейский случай я привел к тому, чтобы плавно перевести разговор в более сложную плоскость науки, где тоже на каждом шагу встречаются свои *обыденные научные стереотипы*, которыми мы зачастую пользуемся, не задумываясь. Вот один из них, о котором я, к своему удивлению, задумался только недавно, размышляя о книгах и статьях Александра Викторовича: «гениальное всегда просто» – а ведь я на самом деле многие годы бездумно считал эту явно не народную, но все же распространенную поговорку непререкаемой истиной. Гениальное действительно просто, когда его на самом деле поймешь по сути, а не только в поверхностной словесной оболочке (примешь всей душой, а не только рациональной частью разума), когда в твоём собственном жизненном и научном опыте сразу же находятся твои собственные факты и аргументы, подтверждающие прочитанную гениальную мысль, – пускай даже саму эту мысль сформулировал кто-то другой... Мы живем, окруженные со всех сторон обыденными научными и житейскими стереотипами, свыкаясь с ними, не замечая их. А.В. не хотел, не мог с этим смириться; и в этой пыливости мысли, в этой непримиримости к неточности ее выражения – даже в форме термина, утрачивающего свой исторический смысл в новом контексте, я постепенно обнаружил так много общего с важнейшими направлениями научного мышления В.И. Вернадского, что хочу попытаться указать хотя бы на некоторые из этих *неслучайных* совпадений.



3. Наиболее развернутое обращение А.В. Михайлова к В.И. Вернадскому содержится в монографии «Дильтей и его школа», подготовленной к печати в 1991 г., но впервые опубликованной (не в полном объеме) лишь в 2006 г. Прочитую с некоторыми сокращениями: «Положение нашей науки тем более тяжко, что она начинает осознавать теперь все горестные утраты и обидные ущемления семидесяти лет, а вместе с тем должна осознать и всё то, что не было готово и не сложилось по-настоящему еще и раньше. В 1911 г. академик В.И. Вернадский писал: «Мы знаем о великой русской литературе, о русской музыке, открываем русскую живопись, русское зодчество. Мы видим, как высоко и глубоко они входят в мировую жизнь человечества. Но русское общество не сознает себя в научной работе человечества». Это горькие слова, которые указывают на некую непреодоленную грань, разделявшую русскую и мировую науку или даже культуру в целом, – притом, что, возможно, вклад русской науки в мировую и лучше узан и усвоен с тех

пор, пусть хотя бы только самой же наукой, внутри ее. Однако, пожалуй, еще существеннее и большее для нас то, как академик В.И. Вернадский продолжает свои слова: «Отсутствие этого сознания есть элемент общественной слабости, его признание есть не только необходимое условие общественной силы, но и залог дальнейшей плодотворной научной работы. Сила русского общества и мощь русского государства тесно и неразрывно связаны с напряжением научного творчества нации». Некоторые из употребленных здесь слов хорошо нам известны – они у нас на слуху; например, слова «дальнейшая плодотворная научная работа». Но вот, должно быть, и всё, что тут для нас привычно. А вот «общественная слабость» и «общественная сила», «сила русского общества», «мощь русского государства»?! Когда мы последний раз слушали такие слова? И, наконец, «напряжение научного творчества нации»? Какие это замечательные слова, и как полны они простым и ясным ощущением ответственности науки перед нацией и нации перед наукой и по существу столь же простого и очевидного вхождения всяких подлинно научных усилий в реальное дело нации. Всё это сказано высоким слогом. От благородства такого слога нас давно уже отучили. И не только словами, но и делами: можем ли мы наше литературоведение, положив на чашу весов все его несомненные успехи и достижения, ни в чем не умаляя их, как-либо связывать с «напряжением научного творчества нации»? [...] Всё подобное, всё такое осознание и ощущение, только убывает и падает с годами в нашем обществе, наука понимается всё более техницистски и прагматически, значит, обедненно и умаленно, занятия наукой всё более служат личным, лежащим за пределами науки, целям, и ежегодная толпа диссертантов, защищающаяся ради защиты, ради общественного положения в кастовом обществе (строго отмеряемого формальными рангами или чинами), заранее согласная с любы-

ми положениями и предписаниями, готовая принять любые «принципиальные» положения и предпосылки и изменять их согласно «указаниям» (будем смотреть правде в глаза), не имеет ничего общего с «научным творчеством нации» [...]. «Сила русского общества», «мощь русского государства» – такие слова стали всем нам абсолютно чужды до полной их неупотребительности; если мы и говорим еще о силе своего государства, то почему-то связываем ее только с военной мощью государства, даже и таковая представляется теперь многим если не сомнительной, то непростительной и неуместной; связывать же научный труд, тем более в так называемых гуманитарных областях, с мощью государства, а прежде того с общенациональным научным *творчеством*, нам как-то не приходит в голову. [...] Как и в искусстве, в науке общезначимым и общепользовательным может быть лишь «бескорыстное» – то, что делается не ради личной «корысти», не ради эгоистического «интереса»<sup>4</sup>.

В понимании места и роли подлинной науки в обществе, ее национального и государственного значения А.В. является одним из наиболее ярких, последовательных и глубоких продолжателей В.И. Вернадского. Эту, несомненную для меня сейчас, мысль я мог бы доказывать и разворачивать на многих страницах, но ограничусь пока попыткой обозначить очень близко сходящиеся направления интересов обоих ученых, совершенно разными путями пришедшими к далеко еще не очевидной даже в сегодняшней научной среде идее *единства науки*, единства исходного и неустрашимого, поскольку вся и всякая наука происходила, происходит и в обозримом будущем будет происходить из единственного источника – от самого человека<sup>5</sup>. Из этого, сначала «инстинктивно» прозреваемого, но с годами все более и более осознаваемого единства науки, проистекает удивительный универсализм обоих ученых, универсализм, который весьма наивно было бы объяснять только врожденной любознательностью, – истоки этой любознательности всё же находились в призвании к той эпохальной истине, искать и найти которую они были обречены. Я написал истина в единственном числе, исходя не только из идеи единства науки, но и потому еще, что – при поразительно различающихся исходных позициях – оба ученых почти в унисон говорили об *итоговом состоянии науки*, которая стоит на пороге перехода в новое качество, достижение которого приведет не только к качественному изменению какой-то отдельной науки, но и к совершенно новому качеству науки в целом.

4. Хотя многое еще остается открытым – в тех именно смыслах, которые А.В. так настойчиво формулировал, разрабатывая принципы «историзации истории», «обратного проецирования», «обратного перевода», «положения о сферах непостижимого или непостижимости» и, особенно, принципа осмысления истории (да и самой жизни) как «бывшего-в-настоящем-из-будущего». А.В. и сам сейчас своей личностью и своим творчеством являет собой ярчайший пример этого «бывшего-в-настоящем-из-будущего». Поэтому мои заметки о нем неизбежно лично окрашены – он для меня одновременно и прошлое, и настоящее, и будущее... Все эти годы, когда его уже нет, лейтмотивом скребется в памяти фраза из прочитанного еще в школьном возрасте романа – о том, что среди нас ходят гении, а мы не можем их опознать, потому что они ходят, смеются, едят, шутят, одеваются и даже говорят, как мы. Фраза эта почему-то запомнилась мне, но только после 1995 г. я начал постепенно понимать ее настоящий смысл. Гении одиноки потому, что их очень мало. Гениальность – это предначертанная судьба (не всегда осуществленная), и те, кому она предначертана, вовсе не обязаны сами знать об этом уже в детстве, да и не только в детстве. Они просто делают то, что должны делать, и вовсе не каждый их жест и слово гениальны (а вот несовершенство свое они чувствуют), – а как другие догадываются об их гениальности, если они сами о ней не догадываются, и ждут от окружающих хотя бы только простого понимания...

Не так давно, читая дневники В.И. Вернадского, я наткнулся на его размышления о гениях и гениальности; он был очень откровенен и подробен в своих дневниках, и, хотя довольно рано стал размышлять о самой природе гениальности, о себе впервые такое подумал (записал) только в 1928 г. Что бы думал о себе сам Александр Викторович, если бы ему пришлось дожить до 65?.. Но в 1990 г. (в 42 года) он написал так: «Во все эпохи существовал феномен, подобный «гениальности», однако я уверен, что смысл его и суть всякий раз разные. Если средний человек в разные эпохи резко отличается по своей внутренней «устроенности», как я предполагаю, то усилия выдающейся личности каждый раз находят для себя невообразимо уникальный путь. Этот путь всякий раз предусмотрен самой устроенностью культуры, но поскольку мы мало что можем сказать о специфике этой устроенности, то тем меньше – об устроенности «гениального» произведения<sup>6</sup>. В цитируемой небольшой статье А.В. яркими штрихами обо-

<sup>4</sup> Михайлов, А.В. Избранное. Историческая поэтика и герменевтика. – СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2006. – С. 278 – 280. В.И. Вернадский цитируется по книге: Труды по истории науки в России. – М., 1988. – С. 61.

<sup>5</sup> См. подробнее: Гугнин, А.А. О неизбежном единстве естественной и гуманитарной науки // Проблемы истории литературы. Сборник статей. – Выпуск восьмой. – М., 1999. – С. 3 – 12.

<sup>6</sup> Михайлов, А.В. Надо учиться обратному переводу // А.В. Михайлов Обратный перевод. Сост., подгот. текста и комм. Д.Р. Петрова и С.Ю. Хурумова. – М.: Языки русской культуры, 2000. – С. 15.

значает контуры теории «обратного перевода», основополагающие для всех современных историков культуры...

5. 2 апреля 1921 г. В.И. Вернадский записывает в дневнике: «А сознание не есть “сверхъестественное” явление – это самая настоящая новая планетная сила...»<sup>7</sup> То есть он пишет уже о ноосфере, не употребляя самого термина. И с этого времени (а фактически уже гораздо раньше) идея ноосферы его неотступно преследует, он натывается на нее на каждом шагу. Но вот запись от 16 февраля 1938 г.: «Днем Московское общество испытателей природы и Комиссия по истории науки. Мой доклад и довольно много народу. Интересно. Впервые публично о ноосфере. Как будто не понимается»<sup>8</sup>. Это «не понимается» постоянно встречается не только в дневниках и в переписке с ближайшими учениками и соратниками, но и в постоянных столкновениях с цензурой, редакторами и «идеологами» и на практике привело к тому, что многие важнейшие труды и статьи ученого выходили уже посмертно (некоторым пришлось ждать до самой «перестройки»), да и то с большими купюрами<sup>9</sup>. При изучении данного вопроса самым печальным оказывается то, что некоторые важнейшие идеи В.И. Вернадского не находили отклика не только среди широкой научной общественности, но даже и среди ближайших коллег-академиков. Число людей, действительно понимавших и принимавших его основополагающие идеи при жизни, исчислялось единицами...

Мне сейчас часто думается, что и А.В. был в сходном положении. Постоянно вспоминаю два факта, к которым я имел непосредственное отношение. Первый случился в Киеве на большой международной гуманитарной конференции (по опубликованным воспоминаниям Ю.И. Архипова это было уже весной 1995 г.), которую финансировали и австрийцы и немцы. Народу была тьма-тьмущая, работало сразу много секций, и можно было, руководствуясь программой, переходить из одной аудитории в другую, если в этой другой аудитории в программе значился предположительно интересный доклад. Мне выпала честь руководить секцией, на которой делал свой доклад Александр Викторович. Но когда я объявил его доклад, заметная часть аудитории заторопилась к выходу, и в большом зале осталось, кажется, не более 20–25 человек. А.В. заметно помрачнел, довольно безразлично прочитал свой текст и сел на место. По окончании работы секции я подошел к нему и стал говорить что-то о глупой публике, которой нужна не глубина мысли, но внешние эффекты. Он посмотрел на меня обреченно-печальным взглядом и сказал что-то вроде «я к этому привык». Второй случай был на пару лет раньше в ИМЛИ, куда я пришел, кажется, по звонку Ю.И. Архипова, который сказал, что А.В. сделает доклад о Карамзине и Германии для небольшой группы германистов. Группа была действительно совсем небольшая, а доклад о переводе одной фразы из «Писем русского путешественника» Карамзина на немецкий язык и о контекстах и смыслах, разводящих русский и немецкий тексты, был настолько подробным и исчерпывающим, что какой-то особой дискуссии у нас по этому поводу не получилось (кажется, что нам просто нечего было добавить к тому, что сказал А.В.). Но сейчас – через 20 лет – я понимаю, что сегодня выслушал бы этот доклад совсем по-другому, и даже знаю, какие бы вопросы я задал...

6. Я вспоминаю многие встречи с А.В., очень часто случайные: на улице Горького (в районе магазина «Дружба»), в разных букинистических магазинах, в издательствах «Художественная литература», «Прогресс» (где я работал в 1977–1981 гг.), и «Радуга» (где я заведовал редакцией в 1982–1983 гг. – до перехода в Институт славяноведения), но нередко и в ИМЛИ (на конференциях, а затем и в его отделе). Но также и на дружеских встречах (вечеринках) в более узком кругу германистов и переводчиков в разные годы и в разных местах (в том числе и у меня дома на окраине Москвы, в Ивановском)... Иногда ловлю себя на том, что я вдруг мысленно продолжаю некоторые наши разговоры и неоконченные диалоги – с того самого места, на котором они оборвались... И сейчас, через шестнадцать лет после того, как он нас оставил, кажется, мы гораздо ближе друг другу, чем были когда-то. Этим я лишь подчеркиваю, что не считаю себя вправе задним числом называть его другом, как бы мне этого сейчас ни хотелось. При этом разница в возрасте (А.В. старше меня на три с половиной года) не играет существенной роли, гораздо важнее тогда была разница в особенностях жизненного опыта, тех внутренних предпосылок и смыслов, которыми он руководствовался и которые я за все годы нашего знакомства так и не удостоился по-настоящему понять...

Наверно, никто из нас так остро не ощущал кризис современной науки и культуры, как А.В. Я очень долго не мог осознать первопричину этого – прежде всего потому, что все мои собственные кризисы вырастали из моей непосредственной *личной* жизни, ибо я очень долго считал (да, в определенной степени, и сейчас считаю), что человек, не смыслящий в жизни, так же мало будет смыслить и в науке, и

<sup>7</sup> Вернадский, В.И. Дневники: Март 1921 – август 1925. – 2-е изд. – М.: Наука, 1999. – С. 28.

<sup>8</sup> Вернадский, В.И. Дневники: 1935–1941: в двух книгах. – Книга 1. 1935 – 1938. – М.: Наука, 2008. – С. 231.

<sup>9</sup> См. подробнее в статье: Аксенов, Т.П. О научном одиночестве В.И. Вернадского // Вопросы философии. 1993, № 6 и в его же книге: Вернадский. – М.: Молодая гвардия, 2001 (серия ЖЗЛ). Одна из «книг жизни» (как он их сам называл) В.И. Вернадского «Научная мысль как планетное явление» была впервые опубликована без купюр и идеологических «поправочных» примечаний только в 1997 г. в кн.: Вернадский В.И. О науке. Т. 1. – Дубна: Издательский центр «Феникс», 1997.

если человек не может разрешить свой собственный жизненный конфликт, то как же он может быть уверен в своей способности разрешать сложные вопросы в науке... И только через годы и годы я понял (но это только мое предположение, ибо о личном мы практически не говорили), что А.В. просто *жил* в науке и в культуре и *переживал несовершенство современной гуманитарной науки как несовершенство собственной жизни*. А он искал совершенство, искал пути к нему. И это неутолимое стремление к совершенству, глубоко и постоянно переживаемое лично, изнутри, всем существом, буквально заставляло его обозначать границы несовершенства и искать пути к совершенству. Наверно, будущие исследователи подробно опишут и проследят этапы этих поисков, – в том, что о нем уже написано, больше подчеркивается, что он очень рано, еще в юности, осознал свой путь, свои интересы, и даже предугадал круг своих основных идей. Эволюцию его еще предстоит изучать, но пока, кажется, он с годами более внимательно стал приглядываться к мифу, к фольклору, к скандинавским и кельтским сагам, к швабским поэтам (Л. Уланд). Эти «ювелирные» сдвиги не нарушали его основных концепций и общего направления...

7. За исключением отдельных рецензий (особенно ранних), многочисленных энциклопедических статей (а это – особый жанр), и некоторых предисловий А.В. Михайлов писал так, словно он постоянно взвешивал каждое слово, вглядывался в него, прислушивался к нему, уточнял его значения и смыслы: словарные и контекстуальные, прямые и метафорические, современные и исторические. В результате читатель получает наглядную демонстрацию самого принципа научного мышления – научности не схоластической, но доподлинной, заставляющей погружаться не только в рациональную логику написанного текста, но и в сам процесс разворачивающегося прямо на глазах (то есть непосредственно при написании текста, а для нас – при чтении) исследовательского мышления. Процесс подобного чтения может раздражать или очаровывать – это, безусловно, зависит уже только от читателя...

В сентябре 1967 г. – после четырехлетнего отсутствия в МГУ по собственному желанию (год рабочим в совхозе и три года рядовым и ефрейтором в пограничных войсках) – я решил, что надо все же чему-то поучиться не только у самой жизни, но и у преподавателей лучшего вуза страны (кроме сказанного, у меня за плечами были уже почти два года работы бетонщиком и арматурщиком на ударной комсомольской стройке и постоянная работа во время моей учебы в МГУ (1960–1963, сначала на славянском, потом на русском и, наконец, на романо-германском отделениях) – ночным сторожем, грузчиком – всего, что я перепробовал, не перечислить... В те годы я безусловно верил в возможность построения коммунизма в СССР (отец – фронтовик и убежденный коммунист, мать – комсомольская активистка 1930-х годов на питерской фабрике), хотя именно непосредственный и постоянно нарастающий жизненный опыт заставлял уже кое о чем задумываться. Смутно, хотя еще и не допуская серьезных сомнений, я чувствовал, что жизнь «внизу», в реальной рабочей и крестьянской среде, идет вовсе не так, как об этом пишут в газетах и говорят по радио. И тогда я решил, что высшее образование может помочь во всем разобраться. Но высшее образование было в шестидесятые да еще и в семидесятые годы насквозь идеологизировано – и это касалось не только диамата, истмата и научного коммунизма с обязательным чтением «Капитала» Маркса (который я усердно читал целыми сутками, но так ничего и не понял, ибо не нашел там ни одного ответа на интересовавшие меня вопросы о смысле человеческой жизни, ибо прибавочная стоимость меня и до сих пор не интересует, а те, кого она интересует, всегда находили и находят возможность ее добывать, что нам и подтвердила наша славная «перестройка»), но даже и таких предметов, как языкознание и литературоведение (казусов было предостаточно: на курсе «Введение в языкознание» доцент А. Волков выгнал меня из аудитории за то, что я на вопрос, каких западных лингвистов я читал, начал позитивно излагать некоторые идеи французского лингвиста Жозефа Вандриеса; профессор А.С. Чемоданов разразился едва не бранью за то, что я читаю книги В.М. Жирмунского, а не довольствуюсь его хрестоматией; знакомство с доцентом А.С. Дмитриевым началось с того, что он вообще запретил мне вслух произносить «буржуазное» слово «бидермайер», которое абсолютно неприемлемо для советской марксистской науки, а заодно и упоминать имя «гангстера от науки» Льва Копелева, на комментарии которого к «Немецким балладам» (1958) я имел неосторожность сослаться в связи с проблемой источников баллады К. Брентано «Лорелей»...). Но не буду вдаваться в дальнейшие подробности – это скорее для мемуаров... И все же что-то удержало меня в университете – по крайней мере во второй раз. В первую очередь, это Константин Валерьянович Цуринов, которого я принял сразу же, безоговорочно, и до сих пор вспоминаю о нем с благодарностью: его лекции по литературе Средних веков и Возрождения, работу научного студенческого общества под его руководством, а потом и многократные беседы с ним, для меня всегда поучительные. Меня потрясала его непоказная эрудиция, его непоказной демократизм, его удивительное знание фактуры художественных текстов и историко-литературного контекста, сама манера его речи, особенно я любил его многочисленные (прямо на лекциях) отступления в историю перевода, именно благодаря ему я и сам стал этим интересоваться. Благодаря К.В. Цуринову<sup>10</sup> я решил после армии специали-

<sup>10</sup> К.В. Цуринов, хотя и не защитил даже кандидатской диссертации и крайне мало писал, руководил (полуофициально) кандидатскими диссертациями, и ученики его, став впоследствии докторами наук, сохранили о нем (на-

зировавшись на средневековой немецкой литературе. Профессор Р.М. Самарин, обладавший феноменальной памятью на лица, запомнил меня с 1962 г., когда я написал свою первую в жизни курсовую работу о Тридцатилетней войне в изображении Ф. Шиллера. Увидев меня через пять лет в коридоре филфака на Моховой, он тут же назвал меня по имени и фамилии и предложил зайти для беседы в ИМЛИ. В результате нашей беседы, тогда потрясшей меня его осведомленностью в средневековых источниках и общей эрудицией, я принял его предложение заняться творчеством Людвига Уланда, о котором, как мне сейчас кажется, впервые же от него и услышал, хотя ему в этом и не признался. Этот выбор был для меня судьбоносным (хотя в тот момент я об этом не догадывался), потому что с более сложным автором – учитывая общий низкий уровень моей тогдашней подготовки – я бы просто не справился. Но именно эта, на первый взгляд, совершенно непритязательная тема, позволила мне постепенно углубляться в любые эпохи, от античности до романтизма, последовательно накапливая и осмысляя необъятный эмпирический материал. Чем я и занимался в дипломной работе (1972) и в кандидатской диссертации (1976), постепенно изучая не только романтизм, но и всю немецкую литературу. Самарин же дал мне в качестве одного из спецвопросов на кандидатском экзамене литературу ГДР, за что я ему также до сих пор благодарен.

Этот чисто житейский пассаж в данном случае важен потому, что, приступив в 1968 г. к занятиям Уландом и немецким романтизмом, я тут же (пока заочно) познакомился и с Александром Викторовичем, прочитав в «Современной художественной литературе за рубежом» его рецензию на монографию Г. Шторца «Швабский романтизм: поэты и поэтические кружки в старом Вюртемберге»<sup>11</sup>, а примерно через год статью «Вводная часть доклада «Генрих фон Клейст и проблемы романтизма»<sup>12</sup>. Обе эти работы меня взволновали, хотя и очень по-разному. Рецензия тогда показалась мне написанной в снисходительно-небрежном аристократическом стиле, снисходительном не столько даже к монографии Шторца, сколько к самим швабским романтикам, эдаким недотепам-провинциалам – прямо в духе высказывания Гёте в одной из бесед с Эккерманом. А я уже погрузился в источники, почувствовал интерес к материалу, и проблема швабской провинции (и вообще Германии, состоявшей из 300 подобных провинций) показалась мне именно в научном плане весьма перспективной... И я почувствовал обиду за «своих швабов», и с наивным упрямством захотел доказать иную точку зрения на проблему – уже не столько автору монографии, сколько самому рецензенту. Статья же несколько обескуражила и даже шокировала своим стилем и подходом к проблеме романтизма. В то время подобный стиль и подход мне был еще недоступен, я еще наивно полагал, что истина всегда проста, и если кто-то пишет сложно, значит, он просто не дает себе труда найти для истины простые и понятные слова. Лет через двадцать я эту статью перечитал, и мне уже показалось, что она написана так ясно, просто и доходчиво, что яснее уже, кажется, и некуда. Этот смешной (или не очень смешной) казус можно было бы и не обнародовать, если бы не одно прискорбное обстоятельство, а именно: сейчас, когда уже опубликовано столько книг и статей Александра Викторовича, что каждый желающий может их прочитать, многие диссертации, монографии и статьи продолжают писаться так, словно бы Александра Викторовича и не было, словно бы он и не открыл ничего такого, что должно стать азбукой для современного литературоведения, да и вообще для всякой гуманитарной науки, которая после его трудов никак уже не может его обойти или делать вид, что его вообще и не было... Одна из задач данной статьи – попытаться акцентировать внимание хотя бы на нескольких таких азбучных истинах...

8. В 1960-е и особенно в 1970-е годы в советском литературоведении с нарастающей активностью стали обсуждаться проблемы романтизма – как в теоретических, так и в практических аспектах. В теоретико-идеологическом плане особенно актуальной стала проблема «реакционного», «консервативного», «прогрессивного» и «революционного» романтизмов, о которой на лекциях в МГУ постоянно (до самых последних лет жизни) говорил один из моих университетских наставников доцент (а затем и профессор) А.С. Дмитриев. Сейчас трудно вспомнить, что я отвечал ему на экзаменах, но при чтении текстов самих романтиков меня лично потрясло сопоставление поэзии Вордсворта (которого я тогда читал на англий-

---

сколько я знаю) благодарную память. При этом методические приемы его были предельно просты и понятны, но попадали в самую точку. Например, на одно из заседаний НСО он принес два портфеля книг (он практически всегда носил с собой книги) и сказал нам, что приобрел их в букинистическом магазине, куда поступили книги покойного профессора Радцига. Показал нам одну из них «Спорт в Древней Греции», пояснив, что сам Радциг никогда никаким спортом не занимался и не интересовался. Вопрос: «Зачем Радциг держал у себя в библиотеке эту книгу?» Как ни странно, но мы (12 человек) задумались и далеко не сразу сообразили, что ответить. Наконец, я, кажется, с большим трудом неуверенно пролепетал что-то вроде: наверно, он так любил древних греков, что его интересовали все стороны их жизни. Ответ оказался верным, и К.В. выдал мне какой-то сувенир, но я до сих вспоминаю наше общее состояние неуверенности и некоторой растерянности при ответе на, казалось бы, простейший вопрос. Подобные ситуации он создавал между прочим, но они почему-то надолго запоминались и заставляли задумываться...

<sup>11</sup> Storz, G. *Schwaebische Romantik. Dichter und Dichterkreise im alten Württemberg*. – Stuttgart, 1967.

<sup>12</sup> Михайлов, А.В. Вводная часть доклада «Генрих фон Клейст и проблемы романтизма» // *Искусство романтической эпохи*. – М., 1969. – С. 106 – 126. Статья перепечатана в более доступном издании: Михайлов, А.В. *Обратный перевод / Сост., подг. текста и комм. Д.Р. Петрова и С.Ю. Хурумова*. – М.: Языки русской культуры, 2000. – С.34 – 45.



ском языке) и раннего Байрона (до «Чайльд-Гарольда») и дискуссии Байрона с «лейкистами». Как читателю мне явно больше нравился Вордсворт, а сатира Байрона на «лейкистов» представлялась как бьющая мимо цели, то есть мимо существа самой литературы. Вордсворт при непосредственном чтении текстов оказывался явно «прогрессивнее» Байрона. Инстинктивно тяготея к «методу эмпирических обобщений», я довольно рано стал сомневаться в «научной» (и бытовой) поговорке «исключение подтверждает правило» и стал пытаться смотреть на мир через принцип *«исключение упраздняет правило»*, поскольку поговорка затушевывает проблемы, успокаивает и усыпляет критическое сознание; научное сознание на удобной в быту поговорке основываться не может, хотя в исторической практике мы постоянно встречаем так называемое *«обыденное научное сознание»*, функционирующее по принципу народных поговорок. Перечитав в шестидесятые годы практически все советские работы по романтизму, я с благодарностью могу вспомнить лишь монографию А.А. Елистратовой «Наследие английского романтизма и современность» (1960), которая (как мне тогда казалось) укрепила мое читательское восприятие Вордсворта и раннего Байрона. Во всяком случае, уже к моменту завершения диплома я старался избегать определения «реакционный» по отношению к романтизму. Но для меня во многом до сих пор остается загадкой, почему я, раздобыв в Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина сборник «Искусство романтической эпохи» (1969) и прочитав его (в том числе и упомянутую статью А.В.), остался к нему «глух», продолжая работать и думать своим кустарным «методом эмпирических обобщений». Поэтому сейчас я хочу (коли уж невозможно воспроизвести статью целиком) обратить внимание на несколько мыслей А.В., которые до меня, к сожалению, дошли только через 20 лет, да и то с помощью В.И. Вернадского, когда я стал обнаруживать многочисленные переклички и параллели между тем, что я читал у Вернадского, и тем, что я читал у Александра Викторовича.

9. «Наука о литературе и наука об искусстве имеют дело с принципиально неопределенными сущностями: попытка определить их приводит к подстановке вместо реальностей – фиктивных «объектов», «величин». Принципиальная неопределенность таких сущностей есть их принципиальная неопределимость – здесь всё течет: текучи «объекты» – тексты, их истолкование, текуч даже сам принцип истолкования. *Это гигантское целое, которое изменяется исторически, где действительно все взаимосвязано, где нельзя без вреда для истинности целого вырывать фрагменты целого* (курсив мой. – А. Г.). Как и саму историю, эту непрерывность потока нельзя остановить, так что исследователь должен считаться не только с тем, что материал его течет, но и с тем, что он буквально утекает у него из-под рук. В основе такой науки – «методологический» парадокс, который никак нельзя сводить к одному методу и к единственному методу. Так и романтизм не есть для исследователя нечто исторически существовавшее, но есть для него то, что все еще изменяется, что, – как он знает, – будет, следовательно, изменяться и в будущем» (с. 115 – 116).

«Сама “романтическая ирония”, которую нужно понимать предельно широко и многообразно, указывает на восхождение от всего отдельного к универсуму, к целому, к абсолюту, предполагает иерархию бытия, – и в то же время, будучи антиметодическим (центральным в романтизме) модусом рассуждения и действия (то есть, как частный случай, и литературным приемом) направляет сознание в сторону иного образа мира – *диалектической опосредованности всего, диалектической конкретности, где нет обособленных уровней, а есть слитая взаимосвязанность всего существующего, незаконченного в своей отдельности* (курсив мой. – А. Г.). Этот образ мира вынашивает в себе позднейшую науку, порождающую внутри себя диалектику нового века и в то же время активно воспринимающую ее, но он же равным образом не научен, а фантастичен, произволен, расположен в мистической традиции. Гегель приводит в порядок подобные импульсы романтизма, которые, будучи систематизированы, лишаются своего качества романтического. Но и романтическая ирония – это не сущность романтического, а противоречивое выражение противоречивого самого по себе» (там же, с. 121 – 122).

Процитированные отрывки, как и всю статью в целом, я в 1969 г. не понял и, соответственно, не принял. Я все еще упрямо надеялся на возможность достижения абсолютной точности, постоянно сочинял всевозможные дефиниции и определения. Кое-что понимать я стал только после прочтения монографии Александра Викторовича «Проблемы исторической поэтики в истории немецкой культуры» (1989) – к тому времени я уже сам читал и Шерера и братьев Веселовских и чувствовал себя причастным к проблематике исторической поэтики. Мне стало, наконец, из собственных эмпирических штудий понятно, что «наука находится в движении относительно принципиально движущегося материала», что история науки о литературе имеет «все шансы к тому, чтобы... сделаться в будущем ее творческим центром», что мировая наука в целом вступает в очень важный «процесс историзации всего знания», и это требует, в первую очередь, «совмещения теоретического и исторического знания о литературе», то есть «преодоления давнего, осознаваемого в наши дни как неоправданного и неплодотворного раскола литературове-

дения на теорию (систематику) и историю»<sup>13</sup>. Этот разрыв и «раскол» теории и истории, о котором А.В. написал в «Предисловии» к своему труду, я (в разные годы прослушавший курсы лекций Г.Н. Пospelова, П.А. Николаева, И.Ф. Волкова и др.), прочитавший (бессистемно) все доступные мне теоретические труды<sup>14</sup>, воспринимал уже как самую большую и «гниющую занозу» литературоведения, и поэтому сам предпочитал инстинктивно работать по «методу эмпирических обобщений», о котором впервые узнал позднее из работы В.И. Вернадского о Гёте<sup>15</sup>. Но особенно в этой книге А.В. меня потрясло и фактически постепенно «перевернуло» мой взгляд на мир и науку последнее (585) примечание к монографии: «Вся эта ситуация падает на литературоведа тяжким бременем, так как постепенно яснее и яснее становится **общая связь и взаимозависимость всего со всем в пределах нашего знания о литературе** (выделено мной. – А. Г.), и литературовед так или иначе вынужден держать в голове хотя бы идею системы целого со множеством сторон и факторов, понятных лишь в их взаимообусловленности. Всё лучше выступает в различных аспектах взаимосвязь исторического и теоретического знания. Именно эта взаимосвязь и начинает всё больше занимать исследователей»<sup>16</sup>. Выделенные в цитате слова, были, как мне и сейчас кажется, как раз те, которые я инстинктивно всегда предчувствовал, но окончательно осознал как смысл моей оставшейся жизни в 1989 г., отнеся эту формулу не только к литературе и науке о ней, но и к самой жизни<sup>17</sup>. Поэтому В.И. Вернадский и А.В. Михайлов остаются моими «поводырями» по сей день и, читая их параллельно (таких разных и таких похожих!), я всякий раз обнаруживаю у них такие совпадения в понимании основных проблем современной науки, которые заставляют и меня самого не отчаиваться и далее утверждаться в идее **единства науки**, которое, однако, еще многие годы надо будет утверждать и доказывать... Мои последующие тезисы, как бы кратко я их не излагал, являются лишь наметками для обширных исследований, – именно потому, что они, на первый взгляд, общедоступны, и вряд ли кто возьмется их отвергать, но в обыденной ежедневной науке (не говоря уже о самой жизни) очень мало кто с ними реально считается...

10. Роль личности в науке как неотъемлемый фактор самой науки. Личность же всегда субъективна (я называю это *объективной субъективностью человеческого сознания*), и каждый ученый должен это отчетливо понимать со всеми вытекающими отсюда последствиями. Вот как по-своему написал об этом 24-летний В.А. Вернадский (уже окончивший Санкт-Петербургский университет, защитивший кандидатское сочинение «О физических свойствах изоморфных смесей» и оставленный работать в Минералогическом кабинете) своей жене в 1887 г. (цитирую фрагменты): «Ученые – те же фантазеры и художники; они не вольны над своими идеями; они могут хорошо работать, долго работать только над тем, к чему лежит их мысль, к чему влечет их чувство. У них идеи сменяются; появляются самые невозможные, часто сумасбродные; они роятся, кружатся, сливаются, переливаются. И среди таких идей они живут, и для таких идей они работают; они совершают много сравнительно механической, временно нужной работы, но удовлетворить их она не может <...>. Есть общие задачи, которые затрагивают основные вопросы, которые затрагивают идеи, над решением которых бились умы сотен и сотен разных лиц, разных эпох, народов и поколений. Эти вопросы не кажутся практически важными, а между тем в них вся суть, в них вся надежда к тому, чтобы мы не увлеклись ложным камнем, приняв его за чистой воды бриллиант <...>. Знаешь, нет ничего сильнее желания познания, силы сомнения; знаешь, когда при знании фактов доходишь до вопросов «почему, отчего», их непременно надо разяснить, разяснить во что бы то ни

<sup>13</sup> Цит. по изданию: Михайлов, А.В. Избранное. Историческая поэтика и герменевтика. – СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2006. – С. 7.

<sup>14</sup> Наиболее запомнились тогда: Wellek, R., Warren, A. Theory of Literature. Third Edition. – New York, 1956; Krauss, W. Grundprobleme der Literaturwissenschaft. Zur Interpretation literarischer Werke. – Reinbeck bei Hamburg, 1968.

<sup>15</sup> Вернадский, В.И. Мысли и замечания о Гёте как натуралисте (1935–1938). Впервые опубликована в 1946 г.; позднее неоднократно перепечатывалась. Эта большая статья (по сути, книга) отразилась впоследствии в некоторых моих работах, см.: Магический реализм в контексте литературы и искусства XX века. (Феномен и некоторые пути его осмысления). – М., 1998. – 117 с. (Доклады Научного центра славяно-германских исследований. 2.); Идеи космического универсализма у Гёте и у йенских романтиков в свете концепции ноосферы В.И. Вернадского (несколько тезисов) // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия А: Гуманитарные науки. – Новополоцк, 2002. – Т. 1. – № 4. – С. 2–4.

<sup>16</sup> Цит. по изданию: Михайлов, А.В. Избранное. Историческая поэтика и герменевтика. – СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2006. – С. 223.

<sup>17</sup> Из этой идеи взаимосвязи «всего со всем», которую я вычитывал после 1989 г. и в ранних и в поздних работах А.В. Михайлова, связано и название данной статьи; но все же понятие «магический» я в данном случае соотношу не с магией как таковой, а с развившимся впоследствии переносным значением – «необыкновенный и неожиданный по силе воздействия на кого-либо; чудодейственный, волшебный» (см.: Большой академический словарь русского языка. Т. 9. – М. – СПб: Наука, 2007. – С. 396). К сожалению, я не догадался в то время прочитать исключительно важную для моего контекста публикацию «П.А. Флоренский по воспоминаниям Алексея Лосева» (в записи Ю.А. Ростовцева и П.В. Флоренского) // Контекст-90. Отв. ред. А.В. Михайлов. – М.: Наука, 1990, где А.Ф. Лосев (со ссылкой на Флоренского) определяет магию как «живое, жизненное (одухотворенное) общение *живого* человека с *живой* природой. Это реальность, являющаяся предметом веры» (с. 23). Этот разговор о магии происходил в 1919–1920 гг.



стало, найти решение их, каково бы оно ни было. И это искание, это стремление есть основа всякой ученой деятельности; это только позволит не сделаться какой-нибудь ученой крысой, роющейся среди всякого книжного хлама и сора; это только заставляет вполне *жить, страдать и радоваться* среди ученых работ, среди ученых вопросов; ищешь правды, и я вполне чувствую, что могу умереть, могу сгореть, ища ее, но мне важно найти и если не найти, то стремиться найти ее, эту правду, как бы горька, призрачна и скверна она ни была! <...>. Я хочу понять те силы, какие скрываются в материи, я хочу узнать те причины, которые заставляют ее являться в тех правильных, математически гармоничных формах, в каких мы всюду видим и чувствуем ее. И одно из звеньев этой гармонии материи – мы сами и все живые существа»<sup>18</sup>. Как видно, Вернадский в свои 24 года уже встречался с «учеными крысами», и делал четкое различие между необходимой и неизбежной в науке текущей рутинной, «временно нужной работы» и тем, над чем годами, а чаще десятилетиями бьется настоящий ученый – до открытия и научного обоснования «живого вещества природы» (1908) ему пришлось трудиться еще 21 год. А с «крысами» разного пошиба ему пришлось сталкиваться до самых последних дней своей долгой жизни – можно написать большую книгу о том, как протекала его борьба с различными разновидностями «субъективности» в науке.

11. А.В. Михайлова проблема личности и субъективности в науке особенно интенсивно, кажется, занимала в 1990-е годы. Углубленно занимаясь философией и теорией литературы, он очень рано (но все же постепенно) почувствовал отрыв традиционной теории литературы от истории литературы и осознал пустоту и бесплодность подобного отрыва, что сейчас прочитывается уже в цитированном выше докладе о Клейсте и проблемах романтизма (1969). Возможно, он надеялся преодолеть этот разрыв с помощью развития исторической поэтики, но уже в книге (брошюре) о М. Хайдеггере<sup>19</sup> (а, возможно, и раньше) он совершенно очевидно покидает пределы собственно литературоведения и начинает говорить не только о науке в целом, но и о самой жизни: «Ведь если люди любой, а тем более исключительно кризисной эпохи должны так или иначе устраиваться в своей действительности, то в конце XX века человечество все явственнее осознает, что мир, в котором мы живем, это не только земля, вселенная, космос, но и мир истории. Такова, по сути дела, культурно-историческая задача небывалого масштаба, которую суждено решать современному человечеству. Оно ее и решает – впрочем, с колебаниями и промедлениями. Труднее всего осознать, что мир совершенства, называемый нами историей, – это такая же реальность и такая же неотъемлемая наша принадлежность, что и пространства вселенной. Историческое совершение вовсе не отошло в прошлое, а точно так же существует с нами, существует для нас, как и просторы неба доступны для нас через наш окружающий мир и благодаря ему, постижимы для нас благодаря нашей земле и нашему небу».

В осознании такого бытийного существа истории Хайдеггеру принадлежат выдающиеся заслуги. Его направленная на бытие философская мысль существенно дополняет то, что было достигнуто русскими мыслителями, такими, как В.И. Вернадский и П.А. Флоренский, то, что лишь сейчас встает перед нашим сознанием как общая, касающаяся всех задача. Как человек западной культурной традиции, Хайдеггер в лекции 1929 г. мог с полным правом говорить: «Корни наук в их бытийном основании отмерли». Но как раз опыт русской мысли (еще не освоенный нами) показывает, что полнота осмысления бытия не была утрачена до конца – отсюда столь незатрудненный и столь естественный переход от философии к науке и технике (и обратно), какой мы наблюдаем в творчестве В.И. Вернадского и П.А. Флоренского. <...> Человек, живущий на своем месте в мире, – человек не без места и не без родины, человек не без местный и не безродный. Лишь от родного истока путь ведет в широту исторического совершенства, как от «мира» – в просторы бытия. Лишь возвращаясь к себе, к самотождественности своего, можно воспринять что-то в мировой истории и мировой культуре. Лишь сходясь в *мире* людей, мировая история и культура обретают свою цельность»<sup>20</sup>. В процитированном суждении меня (еще при первом чтении) «заинтриговал» «опыт русской мысли, еще не освоенной нами», тогда я еще не знал, что Вернадский и Флоренский были знакомы, переписывались и внимательно читали друг друга. С другой стороны, А.В. совершенно объективно (ведь многое еще не было к тому времени опубликовано) мог и не знать всего ог-

<sup>18</sup> Вернадский, В.И. Письма Н.Е. Вернадской. 1886–1889. – М., 1988. – С. 106 – 107. Впоследствии В.И. Вернадский, многие годы посвятивший изучению истории науки, постоянно высказывался по этому поводу, в 1921–1922 гг. он, к примеру, отстаивая интересы науки и ученых в сложное послереволюционное время, писал в статье «Вопрос о естественных производительных силах в России с XVIII по XX в.» (которую хотел развернуть в целый курс лекций): «В той области исторической науки, в какой мне приходится заниматься, в истории науки, истории приобретения знания, влияние человеческой личности проявляется так, как оно нигде, может быть, не проявляется. Этих личностей может быть много или мало, но никогда нельзя здесь массой заменить работу отдельных единиц. Из множества средних умов не создать ни одного Ньютона или Фарадея...». Статья впервые опубликована по рукописи в кн.: Вернадский, В.И. Труды по истории науки. – М.: Наука, 2002. – С. 397.

<sup>19</sup> Мартин Хайдеггер: человек в мире. – М.: Московский рабочий, 1990.

<sup>20</sup> Цит. по: Михайлов, А.В. Избранное. Историческая поэтика и герменевтика. – СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2006. – С. 437 – 438.

ромного объема работ В.И. Вернадского по истории науки, а также того, какую чрезвычайную роль он отводил истории науки в рамках самой науки. Прочитав небольшой фрагмент статьи «Из истории идей» (1912): «История науки и ее прошлого должна критически составляться каждым научным поколением и не только потому, что меняются запасы наших знаний о прошлом, открываются новые документы или находятся новые приемы восстановления былого. Нет! Необходимо вновь научно перерабатывать историю науки, вновь исторически уходить в прошлое, потому что благодаря развитию современного знания в прошлом получает значение одно и теряет другое. Каждое поколение научных исследователей ищет и находит в истории науки отражение научных течений своего времени. Двигаясь вперед, наука не только создает новое, но и неизбежно переоценивает старое, пережитое. Уже поэтому история науки не может являться безразличной для всякого исследователя. Натуралист и математик всегда должен знать прошлое своей науки, чтобы понимать ее настоящее. Только этим путем возможна правильная и полная оценка того, что добывается современной наукой, что выставляется ею, как важное, истинное или нужное. В сущности, мы имеем два критерия оценки научной истины, отличия преходящего от вечного. Один путь – путь философской критики, связанный с теорией познания, другой путь – путь исторической критики, связанный с историей науки. При всем несовершенстве и неполноте этого второго пути математик и особенно натуралист в большинстве случаев останавливается на нем, так как он дает ему прочную почву для суждения и не выводит его из рамок работы, к которым он привык в научной области. Мне кажется, что, даже избрав первый путь – путь теории познания, он должен для того, чтобы разобраться в противоречивых и неизбежно по существу несогласных построениях теории познания, или, вернее, различных философских теорий познания, обратиться к истории науки. Только после этого он сможет применить безнаказанно теорию познания к оценке научных построений или текущей научной работы»<sup>21</sup>. С самой юности Вернадский мечтал посвятить себя изучению истории науки, но только в 1921 г. ему удалось создать и возглавить в Академии наук Комиссию по истории науки (с 1922 г. – Комиссия по истории знаний), программу деятельности которой он сам же разрабатывал и осуществлял.

12. Кажется, с осени 1990-го и в 1991 г. мы с А.В. не встречались и ни о чем не говорили – я лично был занят проблемой элементарного выживания (двое из троих детей еще учились, и я, работая на 3-х или 4-х работах, месяцами не получал зарплаты и выкручивался, как мог). Многообещающая «перестройка» явно стала «попахивать» элементарным надувательством. К сожалению, я не знаю, как А.В. пережил эти годы в личном плане, но его публицистика этого периода окрашена ожесточением и трагизмом. Чего только стоит его статья, опубликованная в журнале «Вопросы философии» под рубрикой «Кризис эстетики? Материалы «круглого стола» (1991), где эстетика явно отступает перед непосредственной эмоциональной реакцией на события, например: «И так совершилось величайшее предательство – оно заключается в том, что на место прежней, теперь открывшейся лжи водрузили новую, огромную и непроглядную ложь, которая, под звон лозунгов о возрождающейся духовности, попирает всякую правду человеческих отношений, всякую нравственность, всякую духовность и культуру <...>. Что это значит? То, что ложь старая и ложь новая, дружно объединили свои усилия, довели страну до такого положения, когда она уже не в состоянии обновляться и возрождаться»<sup>22</sup>. Мне представляется, что столь непосредственная включенность А.В. в судьбу страны и народа в эти переломные годы, заставила его несколько иначе взглянуть и на саму науку, еще острее почувствовать ее «пробуксовку» и даже «кризис», о котором он с этого времени постоянно говорит: «В пределах науки о культуре утрачено знание о само собой разумеющемся или очевидном. Если же это так, и само собой разумеющееся для историка культурной науки так и исчезает, то надо дать себе в этом отчет: так ли это? И если это так, то *попытайся воспрепятствовать тому, чтобы, как это нередко происходит, самоуверенность науки и ученого занимала место само собой разумеющегося и очевидного*»<sup>23</sup> (курсив мой. – А. Г.). Я приведу лишь одну показательную цитату из написанной в 1992–1993 гг. статьи «Несколько тезисов о теории литературы» (опубликована по рукописи в 2001 г.): «Неразрывность связи науки о литературе с «обыденными» суждениями приоткрывает «человеческий» аспект этой науки (откуда вовсе не следует, что наука о литературе относится к

<sup>21</sup> Вернадский, В.И. Труды по истории науки. – М.: Наука, 2002. – С. 173. В 1911 г. Вернадский в статье «Памяти М.В. Ломоносова» написал: «История научных идей никогда не может быть окончательно написана, так как она всегда будет являться отражением современного состояния научного знания о былом человечества. Каждое поколение пишет ее вновь. История биологии, написанная в эпоху Кювье, не может быть похожа на ту, которую даст последователь Дарвина... Человечество не только открывает новое, неизвестное, непонятное в окружающей его природе – оно одновременно открывает в своей истории многочисленные забытые проблески понимания отдельными личностями этих, казалось, новых явлений...» (там же, с. 51).

<sup>22</sup> Цит. по: Цит. по: Михайлов, А.В. Избранное. Историческая поэтика и герменевтика. – СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2006. – С. 473 (статья «Эстетика и оживление человека»).

<sup>23</sup> Несколько тезисов о теории литературы. Стенограмма доклада, сделанного 20 января 1993 года на заседании Научного совета ОЛЯ РАН «Теория и методология литературоведения и искусствознания // Литературоведение как проблема. Труды Научного совета «Наука о литературе в контексте наук о культуре». – М.: Наследие, 2001. – С. 205.

числу т. н. «наук о человеке», – она таковая, надо думать, не более, нежели любая другая). «Человеческий» аспект – в том, что наука эта не может размежеваться с обыденными «просто человеческими» суждениями, и это *бытийная* ее черта. Напротив, попытки превратить науку о литературе в науку точную, работающую точными методами, несостоятельны не потому, что они, скажем, *не осуществимы*: всякая такая попытка, если бы она увенчалась успехом, создала бы *иную* науку по сравнению с той наукой о литературе, какая уже имеет свою традицию, и *вместе с тем* не имела бы ни малейших шансов упразднить *ту* науку о литературе, какая уже имеет свою традицию <...>.

§ 10. – «Человеческая» сторона науки о литературе: никакой литературовед не в силах отрешиться в себе от человека, «просто» судящего о литературе, а попытки добиться этого приводят, как известно, к парадоксальным результатам, одним словом – к омертвлению литературоведческой «продукции». Невозможность отмежеваться от «обыденных» суждений для всей науки и от «простого» человека в себе для литературоведа – это *просто* реальность *этой* науки, реальность, с которой надо *просто* считаться. Те же «проблемы» известного рода *реальности* и невозможность попросту сжиться с ними стоят и перед другими науками, включая *историю*. В последней науке они, вероятно, и встают во всей их тяжести и весомости<sup>24</sup>. В этом удивительном фрагменте вряд ли стоит искать какие-то противоречия, я вижу здесь, как и во всем позднем творчестве А.В., дошедшее до своего апогея стремление спасти подлинную науку, которую он сейчас уже видит в неразрывной связи с жизнью и с реальностью во всех ее исторических и сегодняшних проявлениях, – не только от «технизма» и плоского рационализма западноевропейской науки (увлечение Хайдеггером и Гадамером в его поздних размышлениях чередуется со сдержанностью и оговорками), но и равнозначного ему наукообразия (только вторичного по своей сути) «отечественного пошиба», неизбежно ведущего «к омертвлению литературоведческой «продукции». И он продумывает и тщательно обосновывает целую систему совершенно практических требований и указаний, которые в совокупности (и в идеале) должны привести к тому, чтобы наука о литературе действительно поднялась на ступень «научного творчества нации». Основная беда – вопиющий разрыв теории литературы и истории литературы, разрыв, о котором он говорил постоянно и который предлагал преодолевать с помощью «изучения *истории науки*» и «изучения истории *основных слов*, какими пользуется наука»<sup>25</sup>. Обе эти методологические и методические посылки (или основные задачи) перестройки современного литературоведения (науки о литературе), которые должны помочь ликвидировать вопиющий разрыв традиционной истории литературы и традиционной теории литературы, конечно, взаимосвязаны, и одно никак не может существовать без другого, но А.В. разделяет их и делает огромный акцент на истории основных слов (терминов), в том числе и потому, что в этой области легче оперировать конкретными примерами, эти примеры выглядят нагляднее и убедительнее. Он даже разработал специальную классификацию, перечисление, «общее указание на то, сколько многообразны источники всякого рода основных слов в науке о литературе, с чем связаны и не менее многообразные способы их функционирования» (с. 14 – 15). Все эти методологические и методические указания должны (в том числе) помочь «излечить» катастрофическую, охватившую уже всю страну повальную эпидемию употребления любых терминов из любых наук – не только в кандидатских и докторских диссертациях, но и в монографиях, и в статьях «ученых» разных возрастов, в погоне за модой утративших филологический слух (если он у них вообще был), не чувствующих, что нельзя бездумно заимствовать терминологию из смежных наук: каждый термин – если он прижился в определенной науке и занял в ней свое законное место – при переносе в другую, пусть даже совсем близкую (как лингвистика и литературоведение), науку должен быть многократно перепроверен и уточнен. Важно прежде всего понять: действительно ли он (термин) необходим и неизбежен, может ли он, перенесенный, дать той науке, в которую он переносится, столь же продуктивный результат, какой он дает в той науке, где он себя оправдал (концепт, тезаурус, синергетика, парадигма, модуль, коннотация, архетип и так далее<sup>26</sup>). Либо мы придерживаемся принципа *единства науки* – и тогда надо вникать во всё, ибо «всё связано со всем», – и прежде чем вводить в литературоведческое исследование такие понятия, нужно долго и долго думать и разбираться, действительно ли эти понятия и термины помогут разрешить какую-то *существенную* проблему, которую традиционным путем решить невозможно, или же эти чужеродные самой сути литературы термины, хотя и способны создать види-

<sup>24</sup> Литературоведение как проблема. Труды Научного совета «Наука о литературе в контексте наук о культуре». Памяти Александра Викторовича Михайлова посвящается. – М.: Наследие, 2001. – С.243 – 244.

<sup>25</sup> Михайлов, А.В. Актуальные проблемы современной теории литературы // Контекст – 1993. – М.: Наследие, 1996. – С. 12. (Далее ссылки на эту статью даются в тексте с указанием страниц в скобках).

<sup>26</sup> В частности, чтобы проверить «методом эмпирических обобщений», насколько продуктивно «работают» в литературоведении «концепт», «тезаурус» и «синергетика», я в течение нескольких лет соглашался выступать оппонентом в разных советах России и Беларуси, где в названиях диссертаций стояли эти слова, – ни одного «исключения, упраздняющего правило», мне пока не встретилось. С 2006 г. я являюсь членом экспертного совета ВАК Республики Беларусь по литературоведению и обязан участвовать в обсуждении *всех* литературоведческих диссертаций – тоже ни одного исключения...

мость *чего-то новенького*, ничего существенного, соответствующего глубинным задачам науки о литературе, произвести не могут... Либо *специализация науки* – и тогда к чужеродным вторжениям приходится относиться не менее строго и осмотрительно: зачем пускать чужую свинью в свой огород – мало ли что она там натворит? Разумеется, сам А.В. говорит о терминах (основных словах науки) гораздо изящнее, глубокомысленнее и точнее, я выступаю здесь как популяризатор и как всякий популяризатор надеюсь, что, может быть, кого-нибудь именно такая форма заденет и заставит отнестись серьезно к тому, что *на самом деле* очень серьезно<sup>27</sup>.

13. Что же касается истории науки, которая, по словам А.В., должна стать «творческим центром всех литературоведческих дисциплин», то он, по сути, занимался этим всю свою жизнь, постепенно выработывая свои собственные подходы «историзации истории» на основе глубокой переработки отечественного и зарубежного опыта. Я лишь прикоснусь к этой важнейшей теме с помощью самого А.В.: «История науки по-своему претендует на истину и имеет на это право. Истина, с какой имеет дело наука о литературе, – это *существенность* ныне уже утраченных осмыслений истории и ее содержания (в тех моментах, какие положены каждой из наук о культуре). Существенность таких осмыслений (или «подходов к истории») есть всякий раз *истинность* закономерного отношения каждой эпохи к истории (и к бытию). Это и *истинность* каждого из доступных нам *языков культуры*. – Заново открывая и пытаясь постичь всякую из «старых истин», мы смотрим на них не как на то, что, как несовершенное, преодолено и превзойдено последующими взглядами и «пониманиями», но видим в них всякий раз то оправданное на своем месте *иное*, что в *совершенстве* возможного его соответствия *своей* истории, немислимо ни преодолеть, ни превзойти – ни заменить чем-либо *иным*.

Занимаясь историей науки, мы не просто «поднимаем» какие-либо неизвестные нам прежде материалы и публикуем их, не только анализируем основные произведения теоретико-литературной и историко-литературной мысли, не просто исследуем творчество выдающихся представителей науки и изучаем их жизненный путь, – всё это необходимо, но еще не достаточно. Занимаясь всем этим, мы изучаем историю культурного сознания в его истинности и еще прежде того историю – если только можно говорить так – литературного сознания. Если судить по тому, как складывается само «литературное сознание», история науки о литературе имеет дело, в положенных аспектах, с истиной истории» (с. 12 – 13). <...>. «История науки о литературе – это не история ее преодоленного и превзойденного прошлого, а *история* ее сущности и *ключ* к ее сущности. Это, скорее даже, история ее будущего, в котором обязаны будут переустроиться и найти себе новое место все известные и доступные нам *языки* знания о литературе с их, присущей им, неотъемлемой истиной» (с. 14). Говоря о недостаточности историзма XIX века, А.В. прежде всего указывал (и доказывал) на необходимость преодоления «обратного проецирования» (накладывания наших сегодняшних представлений об истории и исторических процессах на прошлые эпохи, которые имели совсем другие представления об истории и исторических процессах) и связанного с «обратным проецированием» представления о линейном прогрессе, сформировавшегося уже в эпоху Просвещения, но получившего особое развитие и «двойное» подтверждение в XIX веке: во-первых, со стороны бурного развития техники, и, во-вторых, со стороны утвердившихся в этом веке эволюционных теорий. Указал он и на позитивистское «безразличие», которое уже в XIX веке привело к тому, что «любая эпоха начинает выступать хотя как вполне самоценная, но зато как абсолютно отдельная, тяготеющая к замкнутости в себе»<sup>28</sup>. Поэтому особое значение А.В. придавал проблеме «историзации истории», которую он достаточно емко сформулировал уже в 1989 г.:

14. «Во-первых, всякий исследователь так или иначе останавливает сам смысл «истории» в ее движении – останавливает то, что необходимо мыслить себе движущимся и развивающимся. Именно поэтому такая операция «останавливания» должна ясно контролироваться самим же исследователем – насколько то в его силах. Во-вторых, если мы настаиваем на углублении принципа историзма, мы никак не можем быть уверены, что такое углубление не приведет к парадоксальному повороту взгляда на историю, к такому, при котором историческое развитие не будет перекрыто каким-то иным принципом – пусть, на-

<sup>27</sup> И все же процитирую самого А.В.: «Слова науки о литературе означают то, чего мы еще в существенном отношении *не* знаем. Наше знание о литературе есть всегда наше еще-не-знание того, что *знают* о себе слова, которыми пользуемся мы в науке о литературе. – В то же время, было бы, к примеру, совершенно неоправданно, неправомерно отсылать наше знание о *целом* к эстетике или философии, – хотя наука о культуре и существует во внутреннем единстве с другими науками, она не может поверять *свое* чему-либо иному, а потому *не в состоянии* с пользой для себя *перенимать что-либо готовое из иной области знания* – от искусствоведения до физики. Не только все свое она обязана осмыслять в *своих аспектах*, но и все чужое (что как бы «цитируется» как именно чужой вывод, чужое познание) она обязана продумывать внутри себя в своих аспектах, без чего и помимо чего любое заимствование внутрь науки о литературе совершенно бесперспективно и неконструктивно – и всё снова и снова *продолжает* доказывать свою неконструктивность, неприменимость, бесполезность...» (с. 16).

<sup>28</sup> Михайлов, А.В. Проблемы исторической поэтики в истории немецкой культуры // Михайлов А.В. Избранное. Историческая поэтика и герменевтика. – СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2006. – С. 190.

пример, таким, который можно будет назвать принципом структурной одновременности всего «исторического». В-третьих, точно так же, как принцип историзма не может быть для литературоведа готовым инструментом, он не может быть и теоретически «чистым» принципом, – нет, он прежде всего зависит от того, каков опыт истории, в каком виде он осмысливается вообще, за пределами науки и до нее, и в каком виде поступает он к исследователю. Сколь бы отточены ни были теоретические представления исследователя, философа, историка культуры, литературоведа, он все равно продолжает зависеть от неизведанности самой истории, от неизвестного в ней <...>. «Чистота» и последовательность применения какого бы то ни было принципа очень часто бывает обманчива – исследователь попадает в тупик тавтологии тогда, когда не допускает в свой труд и в свою мысль «самой» истории с ее давлением, не допускает того, что еще неизвестно и неясно ему в исторической логике. Это относится и к тому моменту, где всё, казалось бы, замыкается на себе, – там, где исследователь занят мышлением самой истории. История, история литературы, историческая поэтика, история мысли об истории – это целые гроздья таких самозамыканий истории, где в центре оказывается «сама» история и где всё сходится к ней и от нее исходит. Очень важно поэтому тщательно исследовать любые «образы истории», какие складываются в общественном сознании, в науке, в литературе. Добавим, «чистый» принцип всегда одержит победу (достаточно лишь уметь изложить свой ход мысли с известной солидностью), но только она бывает временной, мнимой, а мнимые победы только задерживают реальное движение мысли, в нашем случае развитие мышления истории»<sup>29</sup>.

Выше я уже писал о том, что «в понимании места и роли подлинной науки в обществе, ее национального и государственного значения А.В. является одним из наиболее ярких, последовательных и глубоких продолжателей В.И. Вернадского» (см. тезис 3). Совершенно разными путями они пришли к идее *единства науки* и необходимости этого единства в интересах самой же науки. Широта гуманитарных интересов Вернадского совершенно потрясает, и она еще только начинает изучаться<sup>30</sup>. В 1881 г. он окончил Харьковскую гимназию и поступил на естественное отделение физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета. Из дневников и писем Вернадского мы узнаем: «Больше всего прельщали меня, с одной стороны, вопросы исторической жизни человечества и, с другой – философская сторона математических наук. И я не пошел ни по той, ни по другой отрасли. Не пошел по исторической, потому что хотел раньше получить подготовку естественно-историческую и потом перейти на историю»<sup>31</sup>. Но он с первого же курса начал посещать лекции на других факультетах – «исторические, филологические, юридические»<sup>32</sup>. Интерес к гуманитарному знанию, к истории, к истории знания во всех областях, постоянный интерес к литературе, живописи, архитектуре, музыке, культуре в самом широком смысле слова – обо всем этом мы узнаем не только из его книг и статей, но и из дневников, которые он вел очень подробно, и из многих сохранившихся писем жене, детям, родственникам, друзьям. Но я в данном случае хочу обратить внимание лишь на несколько, может быть, и не самых важных моментов, но таких, которые задели меня самого и, по-моему, очень близко перекликаются с тем, что я вычитал у А.В.

Уже упоминавшаяся выше статья Вернадского «Из истории идей» (1912) завершается удивительным для меня образом: «Но в научном движении XIX века мы, наряду с развитием математики и естествознания, видим колоссальное развитие наук *исторических*. Их существование, столь далекое от математических умозрений или механических моделей, делает попытки внести эти модели или обобщения в область социологии столь же мало вероятными, как делало их в XVIII столетии развитие нового естествознания. К тому же сейчас и в пределах естествознания область, стоящая за границами математики и механических моделей, не уменьшается вековым ходом научного знания, но, скорее, увеличивается. В общем и сейчас математические формулы и механические модели играют роль не большую, чем прежде, если только мы обратим внимание не на отдельные области знания, а на всю науку в целом. Идет работа Сизифа: природа оказывается более сложной, чем разнообразие – бесконечное – символов и моделей, созданных нашим сознанием»<sup>33</sup>. Когда я впервые читал эту статью, меня поразили две вещи: «наука в целом» и «работа Сизифа» – природа сложнее, чем модели (естественно, рациональные), создаваемые нашим сознанием. К тому времени я уже постоянно сталкивался с этим в жизни. Вспоминаю несколько встреч и дискуссий с известным словацким литературоведом Д. Дюришиным, который пытался соста-

<sup>29</sup> Там же, с. 191.

<sup>30</sup> Наиболее информативным представляется сборник: Ноосфера и художественное творчество. – М.: Наука, 1991. Вернадский не только читал литературу на основных европейских языках (включая польский и шведский), но с детства любил и всю жизнь читал древнегреческую литературу, философию и историю, в том числе и на древнегреческом языке. Вяч. Вс. Иванов сделал первую попытку систематизировать необъятный материал в статье «Эволюция ноосферы и художественное творчество» (с. 3 – 37), открывающей названный сборник.

<sup>31</sup> Страницы автобиографии В.И. Вернадского. Сост. Н.В. Филиппова. – М.: Наука, 1981. – С. 28.

<sup>32</sup> Там же, с. 31.

<sup>33</sup> Вернадский, В.И. Труды по истории науки. – М.: Наука, 2002. – С. 180. В дальнейшем это издание цитируется с указанием страницы в скобках.

вить универсальную схему «литературных общностей» и классифицировать формы «литературных взаимосвязей». Поскольку он шел от «схемы», а я работал «методом эмпирических обобщений», то мне не составляло труда при любой нашей встрече сразу же находить пробелы в его схемах, которые он тут же пытался усовершенствовать... Сотрудничества у нас не получилось, потому что никакого смысла в подобных умозрительных схемах я уже не видел, хотя в аспирантские годы и сам любил сочинять всякие теоретические схемы. Из приведенных выше «методических указаний» Александра Викторовича очевидно, насколько он был против любого схематизма (а ведь я привел лишь отдельные цитаты), «удушающего» или игнорирующего конкретные факты истории литературы...

Но я хочу завершить мои фрагментарные наблюдения несколькими примерами из статьи В.И. Вернадского «Мысли о современном значении истории знаний», опубликованной в 1927 г. в «Трудах комиссии по истории знаний» (которую он же и возглавлял); в основе этой статьи – доклад Вернадского на заседании названной комиссии 14 ноября 1926 г. Перед этим Вернадский 4 года жил и работал за границей, где в том числе читал в Сорбонне курс лекций по геохимии (1922, в 1924 г. его монография по геохимии была опубликована на французском языке); получив от Фонда Розенталя дотацию на научные исследования, он в качестве отчета написал исследование «Живое вещество в биосфере», затем подготовил монографию «Биосфера», изданную в 1926 г.; работал в Институте Кюри, ездил в Англию для участия в научных мероприятиях... То есть был в самом расцвете творческих сил и, как мало кто в то время, владел совокупной научной информацией. Весь доклад буквально насыщен этой информацией. Но в данном случае важны некоторые основные идеи:

1) «Созданная в течение всего геологического времени, установившаяся в своих равновесиях биосфера начинает все сильнее и сильнее меняться под влиянием научной мысли человечества. Вновь создавшийся геологический фактор – научная мысль – меняет явления жизни, геологические процессы, энергетику планеты. Очевидно, эта *сторона* хода научной мысли человека является *природным явлением*. Как таковая, она не может представляться натуралисту-эмпирику случайностью, она неизбежно является его умственному взору неразрывной частью того целого, которое, как он непреклонно знает, все подлечит числу и мере, охватывается его эмпирическими обобщениями. В этой картине природы, научно построенной, должна иметь свое проявление и работа научной мысли, в той же форме и тем же путем, каким входят в нее все другие природные явления, мелкие и грандиозные. Но научная мысль входит в природные явления не только этим своим отраженным проявлением. В ней самой есть черты, только природным явлениям свойственные. Прежде всего это видно в том, что ходу научной мысли свойственна определенная *скорость движения*, что она закономерно меняется во времени, причем наблюдается смена периодов ее замирания и периодов ее усиления» (с. 184).

2) «Такой именно период усиления научного творчества мы и наблюдаем в наше время, в третий раз за последние три тысячелетия. <...> Можно говорить о *взрыве научного творчества*, идущего в прочных и стойких, не разрушающихся рамках, заранее созданных. Для того, чтобы удобнее изучать такие взрывы научного творчества в рамках обычных для натуралиста природных процессов, надо выразить их иначе, свести их на присущие им, обычные явления материальной среды или энергии. Духовная творческая энергия человека сюда не входит. Научная мысль сама по себе не существует, она создается человеческой живой личностью, есть ее проявление. В мире реально существуют только личности, создающие и высказывающие научную мысль, проявляющие научное творчество – духовную энергию. Ими созданные невесомые ценности – научная мысль и научное открытие – в дальнейшем меняют указанным образом ход процессов биосферы, окружающей нас природы. Взрывы научного творчества, повторяющиеся через столетия, указывают, следовательно, на то, что через столетия повторяются периоды, когда скопляются в одном или немногих поколениях, в одной или многих странах богато одаренные личности, те, умы которых создают силу, меняющую биосферу. Их *народждение* есть реальный факт, теснейшим образом связанный со структурой человека, выраженной в аспекте природного явления. Социальные и политические условия, позволяющие проявление их духовного содержания, получают значение только при их *наличии*» (с. 185).

3) «С каждым днем вскрывается всё большая древность материальных остатков прошлого человечества, рисующих его духовную жизнь в такие эпохи, о которых не помышляли исследователи прошлого века; в то время и в сохранившихся и в дошедших до нас проявлениях духовного творчества – в языке, в древних преданиях, в частности – открываются реальности, которые казались невероятными исторической критике недавнего прошлого.

Совершается неожиданное для рационалиста-ученого гуманитарных наук, опиравшегося на разум, как на нечто совершенно самодовлеющее, но обычное для натуралиста-эмпирика явление. Логически вероятное заключение часто оказывается нереальным, и, наоборот, явление, шедшее в действительности, оказывается более сложным, чем это представлялось разуму. *Рассыпаются идеальные построения разума, и невероятное логически становится эмпирическим фактом* (курсив мой. – А. Г.). <...> Одновременно история смыкается с биологическими науками. На каждом шагу начинает выявляться биологичес-



кая основа исторического процесса, не подозреваемое раньше и до сих пор, по-видимому, недостаточно учитываемое влияние дочеловеческого прошлого человечества; в языке и в мысли, во всем его строе и в его быту выступают перед нами теснейшие нити, связывающие его с отдаленнейшими предками» (с. 190).

4) «Так, в науках физико-химических и в науках о человеке, исторических, одновременно идет исключительный по силе и размаху перелом творчества. Он находится в самом начале. Он представляется натуралисту-эмпирику процессом стихийным, естественноисторическим, не случайным и не могущим быть остановленным какой-нибудь катастрофой. Корни его скрыты глубоко, в непонятном нашему разуму строе природы, в ее неизменном порядке. Мы не видим нигде в этом строе, насколько мы изучаем эволюцию живого в течение геологического времени, поворотов и возвращений к старому, не видим останков. Не случайно связано с предшествовавшими ему существами появился человек, и не случайно он производит работу в химических процессах биосферы. Поворот в истории мысли, сейчас идущий, не зависит от воли человека и не может быть изменен ни его желаниями, ни какими бы то ни было проявлениями его жизни, общественными и социальными. Он, несомненно, коренится в его прошлом. Новая полоса взрыва научного творчества неизбежно должна дойти до своего естественного предела, так же неизбежно, как движется к нему комета» (с. 191).

5) «Эти величайшие движения научной мысли неизбежно отражаются уже сейчас на всей духовной структуре человечества. Они отражаются и на его жизни, на его идеалах, на его быте. С ними неизбежно связан новый рост философской мысли, который некоторыми уже указывается как начавшийся и новый подъем религиозного творчества.

С глубочайшим вниманием должен историк мысли, историк науки присматриваться в такие эпохи к происходящему. Он может учиться этим путем понимать прошлое и, может быть, провидеть будущее. Но этим не кончается его деятельность. В такие моменты взрывов научного творчества научное изучение прошлого научной мысли приобретает иное, более злободневное значение. Мы замечаем сейчас огромное оживление в истории знания, рост работы в этой области. Он выявляется в быстром увеличении научной литературы по истории науки, в создании особых центров ее изучения – особых институтов, научных обществ и журналов, ей посвященных. <...> История науки является в такие моменты орудием достижения нового. Это ее значение, впрочем, всегда ей свойственно. Научное изучение прошлого, в том числе и научной мысли, всегда приводит к введению в человеческое сознание нового. Но в моменты перелома научного сознания человечества так, и только так открываемое новое может являться огромной духовной ценностью в жизни человека... (С. 191 – 192).

В более поздних работах В.И. Вернадского встречаются и более тонкие, более сложные ходы мысли и повороты. Но я на этом пока останавливаюсь. Попытаюсь лишь подвести скромные итоги, прежде всего подтверждающие важнейшую для меня мысль о единстве науки, которую, с одной стороны, утверждал В.И. Вернадский, крупнейший ученый-естествоиспытатель XX столетия, и, с другой стороны, А.В. Михайлов, крупнейший российский гуманитарий второй половины века:

1. Оба ученых не только глубоко понимали роль подлинной науки в обществе, ее национальное и государственное значение, но и бескорыстно и самоотверженно трудились в соответствии с этим пониманием.

2. Оба ученых почти в унисон говорили об *итоговом состоянии науки*, которая стоит на пороге перехода в новое качество, достижение которого приведет не только к качественному изменению какой-то отдельной науки, но и к совершенно новому качеству *науки в целом*.

3. При этом переходе науки в новое качество оба ученых придавали особое (выдающееся) значение истории науки, причем само понимание истории (историзм, историческое мышление) становилось с годами в их научном творчестве всё более масштабным, глубоким и разносторонним, захватывая в свою орбиту не только отдельные области и направления их непосредственных научных исследований, но и – по неизбежной логике самой науки – выходило на уровень необходимости понимания не только *всей* истории науки, но и *всей* истории, но и *всей* жизни – в интересах всё той же науки, «надо учиться переводить назад и ставить вещи на свои первоначальные места»<sup>34</sup>. Историзация истории позволяет не только понимать настоящее, но и видеть *будущее* и учиться принципу осмысления истории (да и самой жизни) как «бывшего-в-настоящем-из-будущего».

4. Оба ученых глубоко и разносторонне понимали проблему личности в науке как неотъемлемый фактор самой науки. У проблемы личности в науке всегда есть, по крайней мере, две стороны. Одна совершенно объективная: прорывы в научной мысли (в научном творчестве) создаются только личностями. Другая сторона субъективная: ни один ученый не может отрешиться в себе от человека, он может видеть и наблюдать мир только как человек (в качестве человека). Эту субъективность можно назвать объективной, то есть присущей человеку как представителю человеческого рода. Но есть еще и субъективная,

<sup>34</sup> Михайлов, В.А. Обратный перевод. – М.: Языки русской культуры, 2000. – С. 16.

индивидуальная сторона каждого человеческого сознания, которой отмечена каждая человеческая личность, и каждый ученый должен это отчетливо понимать со всеми вытекающими отсюда последствиями.

5. Оба (В.И. Вернадский и А.В. Михайлов) прекрасно понимали, что ученый делает свои открытия со всех сторон окруженный обыденным сознанием – стереотипами бытового сознания и стереотипами обыденного научного сознания – да и сам далеко не всегда и не сразу освобождается от давления «авторитетных стереотипов». Эта проблема сопровождала обоих великих ученых всю жизнь, выступая в самых разных вариантах, обликах и проявлениях. *Обыденные научные стереотипы* – это то, что нас окружает ежедневно (и сидит в каждом из нас, как почти в отчаянии написал А.В.), и, просыпаясь утром, мы должны знать, что опять начинаем схватку с драконом, у которого за ночь отросли новые головы. И борьба с этим драконом никогда не закончится...

Июль – август, 2011/2013

И еще несколько лирических строк вместо заключения.

### Моя элегия

(В предчувствии утрат...)

*Александру Викторовичу Михайлову  
(24.12.1938 – 18.09.1995)*

Что сравнится с печалью осенней  
Этих сырых лесов и полей...  
Всё туманной подернуто тенью  
Беспрерывно идущих дождей.

Всё ссутулилось и обветшало,  
В голых сучьях всё видно насквозь.  
И какое-то острое жало  
Слепо тычется в сердце, как гвоздь.

Всё притихло в душе, притаилось  
Настороженной птицей ночной.  
Что случилось и что не случилось?  
Всё – во мне? или всё – не со мной?..  
26 – 30 июля 1994, Полоцк<sup>35</sup>

*І.В. Жук (Гродна, ГрДУ імя Я. Купалы)*

### СВАБОДНЫЯ «ЛАКУНЫ» І СВАБОДА «ЛАКУН»: НЕ ЗУСІМ ТЭАРЭТЫЧНЫ ПОГЛЯД НА ГІСТОРЫЮ ЛІТАРАТУРЫ

§ 1. *Вызначэнне супярэчнасці.* Ва ўсякай навуцы абавязкова наступае момант, калі вельмі востра чуюцца недастатковасць усталяванага ведання, чуюцца яго некаторая абмежаванасць, а то і закончанасць. Напрыклад, класічная механістычная фізіка Ньютана, такая ўсемагутная і ўніверсальная для тлумачэння вялікага Сусвету, аказалася маладзейснай, а шмат у якіх выпадках практычна бездапаможнай, калі чалавек з непраглядных глыбіняў космасу пераклучыў увагу ў іншым накірунку – з макракосму ў мікрасвет элементарных часцінак. І тады на месца метафізічнай трываласці заступіла іншая навуковыя дактрына – рэлятывісцкі, адноснасці. На парозе XX стагоддзя квантавая механіка і тэорыя адноснасці ўчынілі сапраўдны безумоўны і жорсткі прысуд непакіснлым, здавалася б, і вякамі правераемым навуковым уяўленням. Разварот навуковага бачання аказаўся настолькі ашаламляльным, што вучоныя розных галін ведаў дружна загаварылі пра вычарпанасць навукі ў яе традыцыйным сэнсе.

Так яно бывала не адзін раз за ўсю гісторыю чалавецтва. І, трэба думаць, не адзін раз яшчэ паўторыцца. У тым ліку і ў гуманітарных ведах, куды ўваходзіць і гісторыя літаратуры. Вельмі падобна да таго, што літаратурная гістарыяграфія стаіць на парозе свайго «развароту». Ва ўсякім разе тэорыя агульнага літаратуразнаўства вагаецца ў моцным сілавым полі, абазначаным дзеяннем дзвюх сіл. З аднаго боку, гэта актыўны ўсплёск у апошнія дзесяцігоддзі навуковых канцэпцый, заснаваных на семіятычных падыходах да тлумачэння сутнасці літаратурна-мастацкай творчасці чалавека. А з другога – вялікая і працяглая

<sup>35</sup> Эти строки написались сами собой, в тот момент я никоим образом не связывал их напрямую с А.В. Я отложил листок и почти забыл про него. А когда через год с небольшим стал собирать и просматривать свои бумаги для издания очередного сборника («Пленики земных горизонтов», 1996), то сразу же понял, что это стихотворение – ему.